



ВСТРЕЧИ
С ПРОШЛЫМ

ВСТРЕЧИ
С ПРОШЛЫМ



VII



ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ



ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Выпуск 7



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1990

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СССР

Выпуск 7

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

И. Л. Андронников

Н. Б. Волкова (ответственный редактор)
И. И. Аброскина
К. Н. Киряленко
И. П. Сиротинская
С. В. Шумихин

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ, СООБЩЕНИЙ, ОБЗОРОВ:

*И. И. Аброскина, Е. М. Бень, И. Э. Бердан, С. Г. Блинов,
Е. В. Бронникова, Н. Б. Волкова, С. Д. Воронин,
Е. И. Горская, А. Д. Зайцев, К. Н. Кириленко,
Н. А. Коробова, Е. Б. Коркина, Н. Г. Королева,
М. В. Криштофова, А. В. Маньковский, А. К. Пушкин,
М. А. Рашковская, Л. Л. Родионов, И. П. Сиротинская,
Н. В. Снытко, Д. М. Фельдман, С. В. Шумихин*

В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

*О. Л. Андрианова, С. Г. Блинов, К. Н. Кириленко,
С. Ю. Митурич, И. П. Сиротинская, С. В. Шумихин*

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ:

Н. В. Снытко

ПРОВЕРКА И СВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ ТЕКСТОВ,
ОБЩАЯ УНИФИКАЦИЯ:

К. В. Айдарова, С. Г. Блинов, А. В. Маньковский

ПОДБОР ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
И СОСТАВЛЕНИЕ ИМЕННОГО УКАЗАТЕЛЯ:

Е. В. Бронникова

Художник А. В. Денисов

ЗАГРАНИЦА

(Воспоминания Г. В. Алексева и очерк Б. А. Пильняка)

Публикация Е. И. Горской

БОРИС ПИЛЬНЯК

В начале революции Блок в смятении воскликнул:

— Слушайте музыку революции!

«Двенадцать» — музыка революции, а не утверждение и не отрицание ее.

«Голый год», «Иван-да-Марья», «Былье» Бориса Пильняка — музыка революции, а не искание ее смысла и даже не отдельные вехи ее пути.

Я понял это, когда услышал чтение Борисом Пильняком отрывков своей повести «Иван-да-Марья». В них на протяжении часа, пока он читал, выла вьюга полей и душ, и случилось только одна, прочно запавшая в память, художественная деталь «сделанного рассказа»: мужички на заседании исполкома жуют баранки, «пока говорят про непонятное». Другой раз, просматривая в редакции «Новой Русской Книги» тощенькие тетрадки полученных из России журналов, я прочитал такую фразу: «О Пильняке нельзя говорить, талантлив или нет, — его надо принять какой он есть, ибо он — отражение революции».

Французской революции понадобилось 60 лет, чтобы вспомнить свой быт — Анатолю Франсу.

Русской литературе — 70 лет, чтобы события 1812 года ожили под пером Льва Толстого.

Бессилие современности — закон. Быть может, только музыка — музыка революции одна и под силу сердцу, раскрытому, как окно, навстречу урагану и внемлющему его грозные звуки.

* * *

Послушать приехавших из России писателей собрался весь литературный Берлин. За сиреневыми столиками «Ландграфа» в уюте отсвечивающих ламп сидели рядом самые неожиданные люди: влево от Гессена, блестящего плешью и очками, мистер Красин в ловко сшитом — по-уайльдовски — сером костюме; за взлохмаченной головой «хозяина русской земли» — Виктора Чернова — двойника священника Петрова, поместился Дан в клинообразной ассирийской бороде. Тут же 52 молодых девушки, пишущих стихи, и 52 молодых

человека, пишущих стихи и рассказы. Из дальнего угла — горят глаза Белого, Ремизова, поодаль еще гр. Толстой, Соколов-Микитов, у стойки проф. Яценко — «Новая Русская Книга», свисающие кудри Пуни, за кудрями — трубка Эренбурга, чадаящая, как паровоз. Посередине комнаты — рядом А. Э. Коган и Сергей Горный — на трех стульях «Жар-Птица». Поближе к эстраде молодежь: Росимов — задумчивый воробей, скрипящий что-то на ухо Федору Иванову. Тот краснеет и прячет манишку, вставшую из-под воротника стрелой. Прокатывается Минский — коротенький, весь на шариках. Усаживает даму в синем костюме, с барашком вокруг шеи и по рукавам. Дама оглядывается кругом с милой растерянностью: она здесь в первый раз — Наталья Крандиевская.

По залу идут двое: первый — бритый и черный, в кубанке, в ладных сапогах, в серебряном пояске — советский с головы до ног. Командир красного полка, буденновец, председатель какой-нибудь уездной чрезвычайки? Александр Кусиков. Второй — небритый и рыжий, волосы стоят, как у ежа, в сером, не по плечу, костюме, выданном в Кремле по ордеру, чтоб в Европе было не стыдно показаться. Борис Пильняк. Искусство внепартийно: приехавших писателей встречают аплодисментами. Газеты в последние дни сообщали, что «есть еще в пороховницах порох» и не в пример «цветам эмиграции» приезжают вот из России настоящий писатель и настоящий поэт.

Молодой человек в кубанке влезает на эстраду и объявляет:

— Говорят, что — я сволочь!

— Да? — не удерживается кто-то в зале.

— Да, — подтвердил молодой человек. — Что я — хитрый и злой черкес...

Когда от неожиданности в зале захлопали, Кусиков рассказал еще, что у него на Кубани имеются пень и конь. На первом он любит посидеть вечерком, когда «совий сумрак рябым пером зарю укачивает». На втором он умеет скакать сломя голову. При этом он очень обстоятельно объяснил некоторые моменты своей скачки: с уздой, без узды, с гривой, без гривы...

Сидевший рядом со мной кавалерийский поручик убежденно заметил:

— Врет.

Покончив с частью биографической, Кусиков приступил к части философической, напомнив сидящим в зале профессорам, ученым и не последним писателям земли русской о

том, что «пророк с крестом не убивал», а вот «с мечом пророк казнил не раз», что он, Кусиков, об этом знает и потому совершенно не уверен, что ждет его «в нигде веков». Я бы не сказал, что эти философические открытия кубанского черкеса произвели на слушателей большое впечатление: большинство из присутствующих интересовалось этими вопросами еще прежде — в шестом классе гимназии, и потому некоторые потянулись из зала к стойке, к приманчивым бутылкам эйеркюняков и шерри-бренди.

Когда Кусиков, наконец, ушел, на эстраду поднялся Борис Пильняк, облокотился на рояль, открыл тетрадку и громко принялся читать о том, как воют вьюги и свистит песками ветер.

— У-у-у... — представлял он.

— Ы-ы-ы... — убеждал он.

Первые полчаса мы, литературная молодежь, поднимаясь в изгнании, сидели, вообще, раскрыв рты. Возможно, что мы ничего не понимаем, что именно вот это завывание и, видимо, не случайное совместное выступление — и есть подлинное искусство. Как писать о солнце — стреляет ли оно игольчатыми и розовыми стрелами или не стреляет? — если это никому не нужно в ходе революции? Когда неосторожной ногой сворочен на сторону муравейник, муравьи не замечают дождя. И, может быть, время кропотливой выписи пейзажа, до деталей разработанных фабулы и характеров в русской литературе прошло, и подлинное творчество — вот эта, поднятая над головой, праща, мечущая камни, не поймешь куда и за что? Я слушал очень внимательно, но не понял ничего: ни фабулы повести, ни характеров отдельных лиц, и ни один отдельный эпизод не удержался в моей памяти. Как все, я пошел домой с горьким чувством не то разочарования, не то обиды. Было еще ощущение какой-то тупой сиротливости, но кто может требовать от музыканта, чтобы он играл Бетховена в доме, охваченном пожаром?

Молодой писатель, шедший со мной рядом, уныло спросил:

— Вы заметили корректурную ошибку в сегодняшних газетах?

— Какую?

— Было напечатано: Пильняк, а не Пильняк.

— Разве?

— Его сегодняшнее чтение напоминает мне именно пыль. Вздут целый столб пыли — залезает в глаза, уши, ноздри, прихватывает дыхание, гнездится в складках одежды, а самого столба не видно.

— Я бы сказал другое. Мне — сегодняшнее чтение напомнило музыку, переданную плохим фонографом.

* * *

Собрались мы — поближе присмотреться. В подходе молодых писателей друг к другу всегда есть что-то сторожкое, но нежное. Рыжий нескладный Пильняк, закапанный веснушками, в круглых роговых пенсне — подарок заграницы — пришел шумный, но очень простой и ласковый. Говорил, как Маша, жена его, ухаживает за коровой — купил корову, распродал библиотеку: на что она, раз в Москве только жить — просыпаться, глядеть и дышать — есть уже искусство. Еще о том, что надо возвращаться — жене одной в хозяйстве трудно, еще не свыклась: была до революции врачом, и есть слух, что больна тифом.

Звал в Россию. Тут писателю помирать, а в России — от Вержболова до Москвы — готовый роман. Но упреждал честно: многого там не понять тем, кто не шел в ногу, а и поймет — донести трудно.

— Мы и я, я и мы — а не я и они, я и он — она: новая тема. Песни метельные, метель бунтовщическая — содержание. Изба без «кумполо» — печь писательская, от которой пляшут по околицам до барских усадеб. Не расскажешь всего о том, как ожили сказки, приметы, поверья.

— А в России идет новый период в литературе — мужицкий. С мужицкой формой и содержанием, ибо «русская революция первым делом была революцией национальной и сняла «кумпол» с той «Академии-де-Сианс», которая была поставлена причетниками»*.

— В Москве две литературы: молодая поросль от литературы старой, литературщинная поросль, тринадцать школ (имажинисты, презентисты, ничевоки и пр. и пр.), писательское мастерство, форма — отлично, а сказать нечего, в двадцать лет рамоли, мышинные жеребчики, губы помадят и похабят. — Этим умирать. И другая поросль — без школ всяких, в лаптях, лаптем пишут, а фактура, а содержание — верстой, как аршином, откладывают, кроят революцию и Россию — новые закройщики.

Но я не верил ни одному его слову. Нет, не действие, не напряжение творческого начала несет она, эта посконная пестрядь молодой русской литературы, бьющая из лесов и

* Не совсем точная цитата из статьи Б. А. Пильняка «Заказ наш», помещенной в журнале «Новая русская книга» — 1922, № 2.

первобытных пещер, куда революция загнала жизнь. В той жизни не осталось ни сумерек, ни полутени, ни — плохое это слово — нюанса. Ночь идет за днем. Удар топора нужнее скользкого касания резца. Маки в поле — досадны: портят рожь. Над всем этим оголенным, раздетым до основного хребта бытом заправляет отчаяние, и ему служит живая тушь незастроенных русских степей, а не новой правде, потому что никакой новой правды нет! И где ж отыскать ее, если ни война, поднявшая поля к национальному подвигу, ни революция, погрозившая разгадкой человеческого счастья и справедливости, не только не отыскали ее, но даже стронуть не могли с места застывшую каменную глыбу? Свист революции — тоска, ее кровь — отчаяние, ее достижение — уход к 17-му веку, в лес, в пещеру, к лопате и дубине на голову женщины.

И тогда не державный ход носителей новой, мужицкой правды (в который раз в русской литературе!) слышится в этой новой поступи по неприбранным, звонким от безлюдья полям, а долгий одинокий крик по ночи, колотящийся о землю в предчувствии смерти своей, долгий одинокий крик человека, зовущего жизнь вернуться и зацвести поля овсами и пшеницей, одеть оголенные души, познать радость — пусть маленькую, как свеча, но необходимую (ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 60, л. 26—31).

Очерк «Заграница» был написан Борисом Пильняком в начале апреля 1922 года, сразу после возвращения из Берлина.

В Берлине Пильняк остановился у А. М. Ремизова, покинувшего Россию полгода назад (7 августа 1921 года, в день смерти А. А. Блока). Он пишет о скором возвращении Алексея Ремизова на Родину, но ожидания эти не оправдались — писатель, в конце жизни принявший советское подданство, умер в Париже в 1957 году.

Среди упоминаемых Пильняком лиц:

Марков 2-й — Марков Николай Евгеньевич (1866—1945) — политический деятель, крупный помещик, белоэмигрант. Один из лидеров черносотенных «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела» и крайне правого крыла в 3-й и 4-й Государственных думах. В 1918—1920 годах — в армии генерала Юденича.

Мартов Л.—Цедербаум Юлий Осипович (1873—1923) — участник русского революционного движения. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,

редакции «Искры». С 1903 года — один из лидеров меньшевизма. В 1919 году — член ВЦИК, депутат Моссовета. Эмигрировал в 1920 году, один из организаторов так называемого «2¹/₂ Интернационала».

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — один из лидеров партии эсеров, член боевой организации. В 1917 году — редактор органа эсеров — газеты «Дело народа», член исполкома Петроградского Совета. После Октябрьской революции — один из деятелей контрреволюционной «Уфимской директории», затем — эмигрант.

Постников Сергей Трофимович (1883—1965) — литератор, основатель журнала эсеровского направления «Заветы» (1912—1914). В ЦГАЛИ хранятся литературные воспоминания Постникова, переданные им в архив в 1953 году. В 1917—1918 годах он — секретарь и член редакции газеты «Дело народа». С 1921 по 1945 год — в эмиграции, один из основателей Русского заграничного исторического архива в Праге. В 1945 году он был арестован в Праге советскими органами госбезопасности и за былую принадлежность к эсеровской партии осужден на 5 лет заключения. После освобождения в 1950 году жил в городе Никополе, работал швейцаром, в начале 1960-х годов уехал к дочери в Чехословакию.

Гринберг Роман Николаевич — эмигрант, после второй мировой войны — редактор журнала «Опыты» и альманаха «Воздушные пути».

А. Ветлугин (псевдоним В. И. Рындзюна) — журналист, сопровождал Есенина и Дункан в заграничной поездке как переводчик. В 1922 году в Берлине вышла книга Ветлугина «Записки мерзавца. Моменты жизни Юрия Быстрицкого» с посвящением С. Есенину и А. Кусикову. Ветлугин рассказывает Пильняку о популярном во времена Великой французской революции генерале Лазаре Гоше, уподобляя ему полковника Каменева, т. е. Сергея Сергеевича Каменева (1881—1936), с июля 1919 по апрель 1924 года главнокомандующего вооруженными силами Советской республики.

В очерке Пильняка упоминаются также художники: Арнштам Александр Мартынович — график, автор обложек и виньеток для периодических изданий («Золотое руно», «Солнце России» и др.) и отдельных книг. Участвовал в выставках «Мира искусства» (1915—1917), после революции сотрудничал в журнале «Красноармеец». В 1922 году уехал за границу, до 1940 года жил в Берлине.

Богуславская (Пуни) Ксения Леонидовна — принимала участие в последней выставке футуристов «0,10» в конце 1915 года, в 1918 году участвовала в выставке картин «Мира

искусства» и в «Выставке современной живописи и рисунка», была одним из художественных оформителей 2-й годовщины Октябрьской революции. В начале 1920-х годов эмигрировала. В 1922 году — участница «Первой русской художественной выставки» в Берлине в галерее Ван-Димена.

Масютин Николай Васильевич (1884—1955) — офортист, килогграф, автор книги «Гравюра» (1922). Эмигрировал в начале 1920-х годов. В 1931 году оформлял спектакль М. А. Чехова «Дворец пробуждается» в театре Авеню.

Пинегин Николай Васильевич (1883—1940) — художник и писатель. Эмигрировал в 1920 году, вернулся в СССР в 1923 году. Участник экспедиции Г. Седова к Северному полюсу, автор книги «Георгий Седов».

ЗАГРАНИЦА

(Очерк)

[1]

Вы просите рассказать о моих заграничных впечатлениях. В Берлине я поселился вместе с Ремизовыми, Алексеем Михайловичем и Серафимой Павловной. Был как-то воскресный денек — там, в Берлине, в конце февраля, как у нас в начале апреля; Серафимы Павловны не было дома; Алексей Михайлович и я — в ее комнате — рылись в ее бисерах и там наткнулись на маленькую коробочку слоновой кости; Алексей Михайлович сказал, что в коробочке — *русская земля*, — я подумал, что это какая-нибудь обыкновенная — Алексея Михайловича — аллегория: я открыл коробочку — там был обыкновеннейший русский суглинок — *русская земля*. Был обыкновеннейший воскресный денек, нас было двое в доме, было очень тихо, — и я ушел из комнаты Серафимы Павловны к себе, у меня защемило сердце и навернулись слезы — в тоске по *русской* земле, по России нашей, милой, необыкновенной, несуразной. — Я свободно приехал в Германию и свободно вернулся в Россию — и: ах, какая тоска в тот вечер была у нас по русской земле, у меня и у Алексея Михайловича...

И эта вот *русская земля* связывает мне сейчас руки, когда я думаю рассказать о наших братьях, оторванных от нас враждой, политикой и глупостью: я не имею права, это нечестно — бросить в них камнем, ибо они не меньше меня любят мать свою, родину Россию. *Я видел эту скорбь по родине*, по русской земле: скорбь всегда прекрасна. История — потом — поставит всех на свое место. Экономическая

и политическая необходимости выкинули их из родины.— На канве величайшей тоски по родине ткется теперешняя эмигрантская жизнь.

И жизнь ли?— Не постепенное ли умирание. Не знаю.

Величайшая тоска по России («в Россию хочу») была канвой и моего — там — бытия.

Ослепительный день, к вечеру. Я — и навстречу мне:

— Полковник такой-то?.. — Это громчайшим «пехотным» басом, из глотки, обветренной многими и разными ветрами, по-русски, конечно.

— Нет.

— Очень жаль — очень жаль.— Хотя, впрочем, очень приятно. Я полковнику такому-то хотел дать в морду.— В морду-с. Вы на него очень похожи... С кем имею честь?— Ротмистр такой-то.— Куда изволите идти? — Дилэ?*

Очень приятно, очень.— Выпьем, конечно, ради знакомства.

А потом, после водки, очень усталыми глазами, совсем не басом:

— Ээх, коллега, какая тоска, знаете ли... Вы, конечно, за меня заплатите?..

А в дилэ, между сдвинутых столиков, под скрипки, которые кажутся голыми, извиваются полуобнаженные пары — в тустепах, фокстротах, джимми. На столиках блестят ликеры, коньяки, мокко, — голые руки и плечи женщин полу-банят (от слова «баня») мои ощущения, — обера блестят манишками. Это немецкие пять часов. Мне — приехавшему из вшивой России — невесело.

(Многие офицеры бывших белогвардейских армий, русские офицеры, служат в немецких ресторанах — лакеями, сиречь «оберами»).

И еще о ресторанах (ах, как пьянствует русская эмиграция).— Ресторан. Вечер. Коньяки, водки, виски, шницели, омлеты, спаржи. Электричество лоснится по голым женским плечам, вымазанные пудрой и подсаленные**, — и все пропахло пудрой и сигарами. Каждый джентльмен надел маску, точно он*** как сфинкс.

И тогда, из дальнего угла, где сидят четверо, — истерически:

— Встааать...—

«Боже, царя хрании.

Сиилы державной царь православный».

* Diele — зал для танцев (нем.).

** Так в тексте.

*** Пропуск в тексте.

...Но это не главное — это конец какой-то свечи Яблочкова, откуда — мне — надо выкинуться в истерику, как всем, чтобы свеча Яблочкова стала Пирром в мировой свалке.

Есть закон центробежной и центростремительной сил, — и другой закон, тот, что творящими и родящими будут лишь те, кто связан с землей; русская эмиграция существует во имя сил центробежных, и она оторвана от русской земли. Там совсем не представляют, что творится в России: не ощущают. Там, ненавидя-проклиная и приветствуя-преклоняясь (сменовеховцы, евразийцы), — одинаково и делят и зируют Россию. — Там, в среде русской эмиграции, почти нет детей, а ребенок есть связь с землей; там у каждого затеряна где-то в России — или жена, или сын, или мать, там мужья и жены перепутали своих жен и мужей, в протитутской разновидности, должно быть.

Но — по закону центробежной силы — откинута и те единицы, которые весят больше других и умеют весить. Я видел много честных людей, которыми могла бы гордиться и русская культура, и русское искусство, которые инакомыслят и которых оторвала, поэтому, от нас политика, — честных людей. Мне тяжело сознавать сейчас, что, быть может, до них дойдут эти строчки: мне думается, что они не правы, они ошибаются в оценке путей России, — но они честно верят, и я не имею права не уважать их. Они, больше, чем многие в России, готовы положить и кладут живот свой за веру свою. — И я мог привести ряд иллюстраций к тому, как много по Европе раскидано сейчас подвижников. Россия — страна необыкновенная, русская революция — необыкновенная революция: в будущем историки «Истории Великой Русской Революции» будут иметь главу «Русская эмиграция» — и в этой главе должны будут рассказать нечто, что напечалит подвижничество Серафима Саровского, — пусть это и не главный колорит, и, конечно, чаще встретишь такого, который:

— Очень жаль, очень жаль. Хотя, впрочем, очень приятно. — Я хотел дать ему в морду. — В морду-с...

Политика вообще окрашивает сейчас жизнь России и русских. В эмиграции политических верований, политических течений, а поэтому и драк — очень много: начиная от монархистов такой разновидности, какую совсем забыла Россия, как, что ли, Марков II, — кончая сменовеховцами, приветствующими даже не Россию, а Российской Советской Властью. Сейчас идет шестой год Российской Революции, та эпоха, когда стало ясно, что Русской Революции кроить, вершить себя суждено через — Россию — Москву — Московский

Кремль; у русской эмиграции нет ничего впереди, — самым сильным, поэтому, течением является «сменовеховство» — «национал-большевизм», иначе — и напряженной, аскетичней, обреченней, поэтому — жизнь — вымирание — борьба — инакомыслящих, особенно эсеров.

2

Вы просили, собственно, рассказать о писателях. — Я нарочно употребляю слово «о писателях», а не «о русской литературе за рубежом», потому что такой там нет. Там есть много очень хороших издательств, которые переиздают впредь написанное. — Литература — это дерево, которое должно расти молодостью, молодыми новыми писателями. Литература — это дерево, которое корнями своими должно питаться от земли. Я думаю, не следует делать подразделений на эмигрантскую и неэмигрантскую литературу. Литература вне России не дает новых писателей потому, что там просто нет молодежи (и молодости), которая была бы связана с почвою, с бытом, приняв его, как кусок черного — с соломою — хлеба. — Лев Толстой — мировой писатель — и все же он семидесятник. — Валерий Брюсов — что бы ни было — русский символист девятисотых годов: молодость окрашивает бытие писателя. Это, конечно, не умаляет их ценности. И старые писатели — как в России, так и в эмиграции — молчат, потому что они оторваны, органически не приемлют нового быта, пусть они революционны: они приемлют (органически) мир глазами своей молодости. В России вообще несколько лет не было литературы, ибо уж очень перемолола быт мясорубка революции. Я верю, что революция народит новую эпоху русской литературы, которую создадут новые писатели. Конечно, нет правил без исключений.

Нет правил без исключений. И я счастлив, что сейчас могу говорить как раз об исключениях за границей. В Берлине я очень близко сошелся, дружил — с А. М. Ремизовым, Б. Н. Бугаевым (Андреем Белым), Алексеем Николаевичем Толстым и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Белому еще до революции удалось уйти от быта в быт философических правд и там провидеть новую Россию; Ремизов — не пишет, а *делает* слова (вы помните его руки, всегда красные, в карандашной пыли. — Когда смотришь на них, видишь, в них зажаты слова, и эти слова имеют все: Ремизов не пишет, а *делает*, не пером, а *руками*); Алексей Н[иколаевич] Толстой нашел в себе молодости и озорства, чтобы преломить быт (ах, какую Тамбовскую губернию раз-

водили мы — он, А. Н. Толстой — в немецких «Вайн-Штубе»* — мы, Толстой, проф. Яценко, Соколов-Микитов и я); и — четвертый — Соколов-Микитов, бывший член Петербургского Совдепа, бывший афонский монах, бывший матрос с проданного в Англии корабля «Добровольного флота», — он сумел народиться и приять быт, и таскать за собой Смоленскую свою губернию по всей Европе.

Алексей Толстой и Соколов-Микитов — сменовеховцы, оба они к июню возвращаются в Россию. Оба они много написали — и хорошо. А. Толстой — два романа: «Хождение по мукам» и «Детство Никиты», Соколов-Микитов — роман «Нил Миротворчатый». Оба они модные в эмиграции писатели, особенно Толстой — первейший. Вот слова, которые он просил передать в Россию:

— «Видел всю Европу и стал мизантропом, проклял все человечество, и теперь только одна вера, одна надежда, что Россия и русские спасут мир, — поэтому считаю себя преступником, что по слабости человеческой сижу здесь».

Это он продиктовал мне тамбовским одним днем у себя на [Kurfürstendamm] (самая русская улица). Там же у него был и Соколов-Микитов, и когда я спросил его, что передать, он молчал долго, потом сказал хмуро (вообще хмурый человек):

— В Россию хочу, домой.

И третий был с нами — А. Ветлугин, тоже сменовеховец, бывший сотрудник «Общего дела», автор «Записок мерзавца» и — как ни привести его слов, чтобы живую дать иллюстрацию настроений:

— «Когда в июне 20-го года уезжал из Крыма, сказал Врангелю: «Наполеон просил два батальона, чтоб разогнать эту сволочь, а у вас сам архангел Михаил не очистит от сволочи двух батальонов».

— «Стоял в Версале и смотрел памятник генералу Гошу (подавителю Вандеи) и думал, что буду стоять через десять лет на Красной площади перед памятником полковнику Каменеву, — с этого стал леветь».

Алексей Михайлович Ремизов. Надо знать, надо видеть его — и тогда нельзя его не любить, никому. Алексея Михайловича в Берлине чаще принимают за испанца, чем за русского, к себе домой на [Kirshstrasse] он перевез подлинную — лежаночную Россию, — и, как в Питере, на Васильевском острове, в старой его квартире, находящейся сей-

* Weinstube — винных погребках (нем.).

час под надзором Отдела по охране памятников старины и культуры, — висят у него черти и куклы и расклеены стены бумажками от шоколада — в его Обезвелволпале (Палате Обезьяньей Великой и Вольной), где он, Ремизов, «забеглый политком»... * Но он, Алексей Михайлович изучает и немецкий язык и как-то в парикмахерской (точный перевод с немецкого) просил обрезать ему голову. — Обезвелволпал — и отъезд Ремизова из России. В России совершенно неправильно распространился слух, что Ремизов бежал из России: Ремизов выехал из России с разрешением Петроградского ЧеКа, со своим собственным паспортом, только не как писатель, а как... ** Обезвелволпала. — Алексей Михайлович Ремизов возвращается в Россию.

В Берлине 36 русских издательств, выходит с дюжину журналов и альманахов. Большинство издательств переходят на новую орфографию, с тем, чтобы поставлять книги в Россию. Гонорары очень невелики. Лучшими издательствами надо считать — «З. И. Гржебина», «Слово», «Геликон», «Грани», «Огоньки», «Русское творчество», «Эфрон».

В Берлине есть «Вольфила» (Вольная философская ассоциация) под председательством А. Белого.

В Берлине есть Дом искусств под председательством Н. М. Минского. Н. М. Минский — родоначальник русского символизма — очень бодр, деятелен. Меня он много расспрашивал о России — и он собирается побывать домой. Ежепятнично в Доме искусств устраиваются открытые вечера. Тут можно встретить всех литераторов, художников (Пуни, Богуславская, Пинегин, Арнштам, Масютин), общественных деятелей (Чернов, Мартов, Зензинов, Гессен, Постников, Гринберг, проф. Ященко). Вечера почему-то всегда шумны, суматошны и бестолковы.

3

Я заканчиваю мой очерк. Мне лично, как дикарю, было приятно чувствовать себя сытым, чистым, свободным от нужды. Я, как дикарь, катался на *Untergrundbahn* (под- и надземной железной дороге): мне нравилось, что меня кидает под землю, оттуда на крыши домов, оттуда перекидывает через Шпрее и опять под землю. Меня поражало, что наша прислуга, фрау Нольте, носит английское — без ободков — пенсне.

* Пропуск в тексте.

** То же.

лайковые до локтей перчатки, причесывается у парикмахера, одета как великосветская дама и что она как-то в кафе — подала мне руку, чтобы я ее поцеловал. — Мне нравилось сидеть часами по кафе и смотреть, как полуобнаженные женщины танцуют «фокстроты» и «джимми».

Но скоро я узнал, что в Европе неблагополучно. Я узнал, что эти «тустепы», «уанстепы», «джимми» — зловещи: ими проплясывается вся духовная культура Европы. Я почувал, что прав Шпенглер, что Штейнер, штейнерьянство имеет право на существование, как некогда Ян Гус и гуситство, — и не случайно, спасание от философического тупика; сотни тысяч идут к Штейнеру... Потом я заметил, что экономическая Европа неблагополучна, очень неблагополучна. Заводы Англии стоят, английский флот портится в портах, — Англия задыхается в своих фирмах*. Франция живет грабежом Германии: то несчастье, что было у Германии, самодовольство, свинская отупелость в...** отнятое у Германии войной, — передана Франции. Французская индустрия ржавеет, — а Германия задыхается от перегруженности работой, от величайшей утомленности, чтобы платить свои долги.

Эта некрасивая фраза: Россия вшивая, Россия всячески загаженная, и она на нее*** обращены сейчас взоры всего мира. И в Европе и у нас слышатся голоса, что идет новое мировое переселение народов, культур и правд. — Черт его знает, может быть, должно быть и так на самом деле.

Неблагополучно в мире.

Я знаю — видел — есть, которым скорбно в этом мире: скорбно быть пылинкой, и придут поэты, которые воспоют эту — людскую — мировую — скорбь. Я, свободно уехавший за границу, свободно бежал отсюда в Россию: мне было радостно слушать глупейшие слова на митинге в Себеже, на нашей границе.

Знаю — одним тоскливо.

Мне же — радостно, весело быть закройщиком нового.

Борис Пильняк

Коломна.

Никола-на-Посадьях

9 апреля 1922 г.

(ф. 1697, оп. 1, ед. хр. 35).

* Так в тексте.

** То же.

*** То же.